Весь в перьях сад,
Весь в белых перьях сад.
Бери перо любое наугад.

Большие дети неба и земли,
Здесь ночевали, спали журавли.

Остался пух. Остались перья те,
Что на земле видны и в темноте.

Да этот пруд в заброшенном саду,
Что лишь у птиц и неба на виду.

И чтобы эти стихи были бы стихами не о безвозвратно утраченном, а повестью о нынешней реальности, заслуживающей поэтизации.

Может быть, поэтому красота мира, его эстетическое совершенство, с такой искусностью воспроизводимые в стихах Владимира Соколова, выглядят иной раз несколько отреставрированными, только что подновленными. Словно опытный режиссер, заботящийся о правильной «постановке» лирического настроения, поэт в нужном, безошибочном порядке расставляет детали внутристиховой реальности: «Пластинка должна быть хрипящей, заигранной... Должен быть сад, в акациях так шелестящий, как лет восемнадцать назад. Должны быть большие сирени — султаны, туманы, дымки. Со станции из-за деревьев должны доноситься гудки. И чья-то настольная книга должна трепетать на земле, как будто в предчувствии мига, что все это канет во мгле»...

В стихах Владимира Соколова, даже в самых, казалось бы, безотчетных по лирическому порыву, всегда видны «хищный глазомер», профессиональная искушенность мастера, точно знающего, на какую клавишу, на какую педальку нужно нажать, чтобы вызвать у читателя отклик, ответное душевное движение. Благодаря этому, наверное, его стихи и производят впечатление образцовых, «классических».

Но есть в этих стихах и то, что в русской литературной традиции ценится куда выше, чем любое мастерство, любая «классичность». В них дышит любовь, живая, неподдельная, деликатная любовь ко всему нашему миру, к людям, ко времени, в какое выпало жить. Дышит не оставляющее ни на миг поэта чувство собственной неизбывной вины за все несовершенства и огрехи мироздания, дерзкая надежда силою стиха сделать это мироздание лучше, гармоничнее, прекраснее.

Это-то живое дыхание как раз и приобщает стихи Владимира Соколова к лучшим созданиям современной отечественной лирики.

●

Лакшин
об Андроникове

Владимир ЛАКШИН

# Дар для многих

## ОБ ИСКУССТВЕ ИРАКЛИЯ АНДРОНИКОВА

Ему никогда не составляло труда в разгар рабочего дня дезорганизовать работу солидного учреждения. Достаточно было Андроникову переступить порог музея, издательства, редакции, библиотеки или архива, как вокруг него тотчас собирались человек пять-шесть. И вот уже слышен хохот, возгласы удивления, толпа растет, и если ты опоздал подойти, то, только заглядывая через чужие плечи, можешь увидеть, как в тесном кружке, немного театрально опершись обеими руками на массивную трость, стоит невысокий, полный, с необыкновенно подвижным, живым лицом человек и с увлечением рассказывает что-то, выговаривая слова красиво, четко, уверенно и поджигая слушателей своим заразительным смехом. Час, два, три часа кряду он рассказывает — невозможно отойти — знакомым, полузнакомым и вовсе незнакомым людям о Пушкине, Одоевском, Лермонтове, бабушке Лермонтова, тетке Сушковой, бабушке тетки Сушковой... И еще о Маршаке, Алексее Толстом, Иване Ивановиче Соллертинском, Василии Ивановиче Качалове — тысяча лиц в одном человеке, и голос каждого слышен.

В 60-е годы я встречал его обычно между двумя поездками: он только что вернулся, скажем, из Западной Германии, откуда привез ценнейшие лермонтовские реликвии, хранившиеся у владельцев замка Хохберг, а на днях уезжает на Украину, где в каком-то одному ему известном местечке может обнаружиться старинный альбом с «феноменальным, потрясающим по интересу» автографом Лермонтова. Вечно чем-то увлеченный, одержимый новыми идеями разысканий, он бурно восхищается только что прочитанной книгой, услышанной вчера симфонией или просто полученным от читателя письмом.

Если после большого, в двух отделениях, вечера устного рассказа вы заходите пожать ему руку за кулисы и застаете его в кресле, изнеможенного, утирающего пот со лба — он три часа держал в напряжении аудиторию,— пожалейте его и не задавайте из праздного любопытства вопросов, относящихся к тому, что вы только что услышали. Ибо там, где другой отделался бы однозначным «да» или «нет», Андроников тут же воспламенится, заволнуется, вскочит и начнет рассказывать вам одному — интересно, блистательно, неутомимо, еще час, два и с тем же воодушевлением, каким только что завоевал полный зрительный зал.

Название книги Андроникова «Я хочу рассказать вам...» не просто остроумно, изобретательно найдено, а верно по существу. «Я хочу рассказать вам...» — так начинался один прозаический отрывок Лермонтова. Автор заимствовал из него еще и эпиграф, в котором сам Лермонтов как бы рекомендует нам Андроникова. Ведь именно об Андроникове можно сказать, что судьба подарила ему «один из тех беспокойно-любопытных характеров, которые готовы сто раз пожертвовать жизнью, только бы достать ключ самой замысловатой, по-видимому, загадки; но на дне одной есть уж, верно, другая...»

Андроников обладает тем азартом познания, неостывающим интересом к новым фактам, новым сведениям и людям, какие суть черты энтузиастической натуры. Все интересное, кажется, само плывет в его руки, потому что, едва приметив нечто заслуживающее внимания, он бросается за ним в погоню. Общительность — часть его таланта. Высмотрев что-то яркое, не отмеченное прежде, разгадав мучившую его воображение литературную загадку, он тут же спешит поделиться с вами, излить впечатления.

Недавний звонок по телефону:

— Что вы можете сказать о чеховской «Чайке»? Об эмблеме «Чайки»? Почему она стала символом Художественного театра? У меня догадка: скромная демократическая птица на занавесе — это же вызов роскошным лебедям, вензелям и лирам, какие любили изображать декораторы императорских театров...

Неожиданно и — неоспоримо.

Он заражает всех своей увлеченностью, тормошит, осаждает, расспрашивает, но более всего заставляет себя слушать. Восхищаться в одиночку он не умеет. Ему нужны собеседники: лучше, если большой зал или бессчетная ауди-

тория радио и телевидения, но на худой конец пусть хотя бы один свежий слушатель, и он готов начать просто и немного торжественно: «Я хочу рассказать вам...»

Об Андроникове трудно говорить, потому что комментировать, как-то объяснять, популяризировать его труды и личность излишне,— этого человека знают все, да и сам он кого хочешь объяснит. Андроников без посредников обращается к аудитории своих читателей, слушателей, зрителей. Поговорим о его любимом жанре.

К жанру Андроникова можно подойти с разных сторон. Можно подивиться живой разговорности, непосредственности интонации устного рассказа; можно обратить внимание на разнообразие историко-литературных интересов автора (Пушкин, Лермонтов, Гоголь и Горький, Алексей Толстой, Илья Чавчавадзе), можно, наконец, отметить широту восприятия автором различных видов искусства, особенно в их скрещениях, сочетаниях — поэзии и живописи, театра и музыки, телевидения и кино. Андроников рассказывает о музыковеде Соллертинском, живописце Пименове, актере Остужеве, композиторе Хачатуряне, фотографе Дмитриеве. И везде находит нешаблонный сюжет, оригинальный поворот.

Устный рассказ древнее письменного. Рапсоды, акыны, сказители, былинники старше писателей. В век расцвета письменной литературы искусство устного рассказа хирело, задыхалось. Украшением дружеского кружка, светского или литературного салона, случалось, становились особо одаренные импровизаторы, острословы и рассказчики. Но круг их слушателей был узок, искусство летуче, и память о той радости, какую они приносили с собой на вечер, на час собравшимся вместе людям, истаяла «аки дым от лица огня».

Известно, однако, что в XVIII веке дивил всех своими устными рассказами Денис Иванович Фонвизин. Автор «Недоросля» смешно и похоже изображал Сумарокова. И, как пишет в биографии Фонвизина П. А. Вяземский, «забавляя вельможу (Потемкина), передразнивал он пред ним своего начальника и покровителя», ибо «имел дар передразнивания, представлял в лицах и начальника своего — шутка невинная!»

В России XIX века чудесными рассказчиками слыли Тургенев, Григорович, Писемский. Но все это были писатели, главный мед сносившие в литературный улей. Устный рассказ был для них гимнастикой воображения и наблюдательности, пробой, этюдом и, если закреплялся на бумаге, в ту же минуту прекращал существовать как звучащее слово.

Жанр устного рассказа с точной мерой импровизации и сюжета бережней хранили и культивировали, пожалуй, актеры старого Малого театра. Это не были монологи, сцены, какие исполнялись ими с подмостков. Устный рассказ, рассказ «из жизни» — бытовой, автобиографический или пародийный — возникал в минуту отдыха, за кулисами, на вечеринке, в гостях. Поразительным рассказчиком в московских гостиных слыл Михайло Семенович Щепкин. Пров Садовский с мрачной серьезностью, но так, что вокруг все «животики надрывали», воспроизводил монолог замоскворецкого купца о Наполеондере Бонапарте и «республике Франс»: как Наполеондер хотел под ноготок всю Европию забрать, а оказался на острове святой Алены, где ни неба, ни земли, ни воды,— одна зыбь поднебесная, и часовой ходит...

Но пуще всего прославился в этом жанре Иван Федорович Горбунов, автор записанных потом сценок «Травиата», «Воздухоплаватель», «Пушка», создатель легендарного образа отставного генерала Дитятина, имевшего по всякому поводу жизни и политики свое чрезвычайное мнение и высказывавшего его с величавым апломбом под дружный смех присутствующих.

Ираклий Андроников со своим жанром возник неожиданно и беззаконно, после перерыва традиции, и как будто в самую неподходящую для устного рассказа пору. Широкая грамотность, письменность культуры, наконец, сужение сферы частного дружеского общения в пользу широких общественных соединений, казалось, не благоприятствовали его особенному и странному таланту.

Одаренности людей причудливы и многоразличны. Кажется, лишь основных способностей психологи насчитывают сорок восемь. Один в уме может возводить в степень и извлекать корень из умопомрачительно огромных цифр. Другой помнит во всех подробностях каждый день и каждый час едва ли не всей прожитой им жизни. Я знаю человека, виртуоза слов-перевертышей, который способен без запинки задом наперед читать длиннющие тексты. Все это более или менее крупные способности, иногда экзотические дары природы, но человек так и живет с ними безотчетно и бесполезно, оттого что применения им не нашлось. Для иных одаренностей есть готовое, проложенное прежде русло — специальности, профессии, занятия, жанра. Для иных это русло еще не отыскано.

Андроников смолоду обладал целым рядом и «полезных» и «бесполезных» даров. Он умел видеть людей, смешно и точно «показывать» их. Отличался острой наблюдательностью и чувством юмора. У него была редкостная врожденная музыкальность. Он имел глубокий, прекрасного тембра голос и живую мимику лица; редкую память на имена, названия, подробности, даты, цитаты, родство, свойство, чины, звания, лычки, стихи, мелодии, прозу...

Это было, разумеется, счастливое соединение способностей; люди чаще владе-

ют тем или иным порознь, но редко в таком тесном соседстве. И все же эти способности могли развеяться, иссохнуть, не найдя себе применения. Андроников отыскал им выход и узнал счастье осуществления себя.

Этому заметно способствовала его ненасытная пытливость, «интерес к неожиданным сторонам жизни», как сказал о себе он сам при первом нашем знакомстве.

Дело было в 1960 году. Твардовскому исполнилось пятьдесят лет, и мы оказались с Андрониковым соседями за праздничным столом. Когда меня подвели к нему знакомиться, он крепко пожал мне руку и громко, звонко объявил: «Моя фамилия — Андроников!» Как будто бы я не догадался, кто передо мной! Твардовский представил меня, Андроников воскликнул: «Неслыханно!» Я понимал, что он в первый раз слышит мою фамилию, и, спасаясь от смущения, пролепетал что-то в том духе, что, мол, приятно познакомиться. «Нет, это я, кому это более чем приятно!» — очень зычно, громогласно, словно вступая со мной в какую-то игру, парировал он. Я не знал поначалу, как себя с ним вести.

Он рисковал выглядеть нескромным, заполняющим собой все пространство, если бы не подкупающая открытость и нечастая среди литераторов способность насмешки над самим собой, умение бесстрашно подшутить над своими слабостями, поражением или неудачей. На этом основан, кстати, эффект одного из лучших его рассказов, «Первый раз на эстраде».

А в тот памятный мне день, подняв тост за Твардовского и отмечая его редкую правдивость, Андроников с ликующим смехом рассказал, как реагировал Александр Трифонович на появление в печати одного из первых его рассказов. «Как ты меня огорчил!.. По твоим застольным историям я почему-то думал, что когда ты, наконец, начнешь писать, то напишешь по меньшей мере «Дон-Кихота»... А теперь с сожалением вижу, что Сервантес из тебя не получится!» И Андроников хохотал вместе со всеми.

В перерывах между тостами, наклонившись ко мне за столом, Андроников рассказал, что недавно провел интереснейшую работу на радио: в стихах Маяковского, записанных когда-то на пластинку Владимиром Яхонтовым, исправил неверное ударение. Яхонтов произносил: «...в тугой полицейской слóновости...», а надо: «...в тугой полицейской слонóвости...» — чтобы рифмовать со строкой «географические новости». Андроников имитировал голос Яхонтова. Это была филигранная работа. Раз двадцать прокручивали звукозапись, чтобы вставить одно словечко, но так, чтобы тембр и интонация полностью совпали.

Когда я выслушал сообщение об этом, на лице моем, должно быть, отразилось почтительное изумление. Вот тут-то Андроников и воскликнул: «Люблю неожиданые стороны жизни!»

Неожиданный наклон темы предпочитает он и в своих сочинениях. Вот, например, статья, в самом названии которой есть что-то вызывающее, эпатирующее: «Об исторических картинках, о прозе Льва Толстого и о кино». Помилуйте, исторические картинки и Лев Толстой? Проза Толстого и кино? Да что тут может быть общего? А между тем статья Андроникова не только остроумна по замыслу, но значительна в выводах. Автор высказывает гипотезу, что Толстой, работая над историческими эпизодами «Войны и мира», использовал изобразительный материал — старинные эстампы, хранящиеся ныне в Историческом музее. Картинки, о которых идет речь, приведены в книге Андроникова в качестве иллюстраций, и они в самом деле напоминают отдельные описания в романе Толстого. Но не настолько, чтобы у вас на языке не завертелся вопрос: а вдруг это случайные совпадения? Вот тут-то Андроников и демонстрирует небанальность ума. Он как будто не настаивает даже на своей догадке. «Но, допустим,— говорит он,— что Толстой не видел этих изобразительных материалов. Все равно, самый факт, что многие из них кажутся точными иллюстрациями к соответствующим страницам «Войны и мира», важен не менее». Андроников обращает наше внимание на конкретность, зримость, «стереоскопичность» толстовской прозы, как бы предвещавшей искусство кинематографа, — вывод, ведущий нас к более глубокому пониманию Толстого.

Андроников открыл для устного рассказа возможность нового содержания, обнаружил для него оригинальную и внутренне серьезную тему. Не только людей литературы, но науку о литературе — литературоведение он сделал предметом изображения.

Тут самое время упомянуть о том, что Андроников — известный историк литературы, искусствовед, музыковед, и свое художественное, артистическое начало он оплодотворил строгим научным знанием.

Значение историко-биографических работ Андроникова, посвященных по преимуществу Лермонтову, общепризнано. «Лермонтов в Грузии в 1837 году», «Лермонтов и его парт...», «Загадка Н. Ф. И.», «Судьба Лермонтова», «Сокровища замка Хохберг» — эти и другие работы составили несколько книг с таким обилием новых соображений, догадок, материалов и находок, что создать их, казалось бы, под силу лишь целому «лермонтоведческому» институту. И пока Лермонтов будет интересовать людей, а будет он их интересовать долго, быть может, всегда, не будут забыты работы и его верного палладина, думавшего, писавшего о нем, отгадывавшего его тайны на протяжении полувека и открывшего в его творчестве и судьбе многое, казалось бы, навсегда сокрытое от глаз.

Лермонтова Андроников знает так, как мог знать его лишь кто-либо из

близких друзей, какой-нибудь Столыпин-«Монго» или Шан-Гирей. И «Н. Ф. И.» интересна ему не как кроссворд и не просто как счастливая находка для академического комментария, а как живое человеческое лицо. Я говорю не об объеме знания — может быть, и другие исследователи знают биографию поэта не хуже,— а о его качестве. Новые сведения о Лермонтове нужны Андроникову не для того, чтобы аккуратно занести их в музейный реестр; тут живой человеческий интерес к личности поэта, к его эпохе, к людям, его окружающим. То же и с Пушкиным.

Незабываем рассказ Андроникова о переписке Карамзиных, найденной в Нижнем Тагиле, о письмах, которые, по его выражению, «стоят романа». Андроников знает силу документа, поэзию подлинности. И какая волна горечи и сочувствия захлестывает сердце, когда в результате строгого обзора «тагильской коллекции» мы заново переживаем вместе с автором последние дни Пушкина, драму его одиночества, предательский выстрел Дантеса, грозное молчание толпы у дома на Мойке...

Интуиция — часть таланта ученого. А в союзе со строгим знанием и пытливостью разыскателя она дает возможность точно расположиться в ушедшей эпохе, угадать давно умерших людей, их думы, страсти, понять то, что было за семью печатями. Андроников внес в литературную науку достаточно новых фактов, дат, имен и трактовок, чтобы заслужить признание самого строгого академического ареопага. Но он сделал нечто и несравненно большее: свою страсть ученого-разыскателя, знание прошлого и дар его понимания он обратил в рассказ *для многих*. Он демократизировал, превратил в нечто манящее и привлекательное сухой предмет литературоведения. Так же как своими рассказами о музыкантах, своим восторгом перед гармонией звуков он сумел увлечь слушателей высокой, серьезной музыкой.

Андроников старается приобщить всех к познанию прошлого, вербует себе сочувствующих и помощников. Вспомним, например, историю розысков загадочного лермонтовского портрета. «Искали портрет, а в портрете искали Лермонтова,— заключает этот рассказ Андроников,— люди многих профессий: и сотрудники литературных музеев, и подполковник инженерных войск Вульферт, и студент железнодорожного техникума, и художник Корин, московские криминалисты во главе с профессором Потаповым, библиотекари, фотографы, рентгенологи».

У читателей и слушателей известного рассказа «Загадка Н. Ф. И.» остается в памяти не только романтическая московская красавица, которая глядит на нас со старинного овального портрета, разысканного неутомимым исследователем, а и те люди, с которыми свели Андроникова его поиски: «чудесный старичок», знаток старой Москвы Чулков; Наталия Сергеевна Маклакова, внучка таинственной Н. Ф. И., гостеприимная и живая старушка; наконец, владелец альбома в бархатном переплете Фокин с его приторной любезностью. У каждого из них свой характер и «норов», свое отношение к прошлому, к памяти Лермонтова.

Вторжение в рассказ о литературных разысканиях живых лиц и подробностей вовсе «не исторического» значения смутит разве что педанта. Восстанавливая репутацию литературоведения не как сухого кабинетного занятия, а как увлекательного дела, Андроников воспитывает у своих читателей и слушателей уважительное чувство к истории литературы, а значит, и к литературе и к истории.

«Новый жанр» Андроникова получил в последние годы, особенно благодаря телевидению и радио, столь неоспоримую популярность, что у него уже явились свои имитаторы и подражатели, обычные спутники большого успеха. Бойкие журналистские перья строчат «истории поисков» и репортажи «под Андроникова», забывая, что мало иметь живой слог и хороший вкус, а надо по меньшей мере обладать серьезной специальной подготовкой, высоким уровнем профессиональной культуры. С другой стороны, специалисты-литературоведы чаще стали «оживлять» свои исследования «вставными новеллами», подробностями, не имеющими отношения к делу, но претендующими на «художественность». Вместо того, чтобы по-деловому сообщить, что такой-то документ обнаружен в архиве в Ленинграде, исследователь сочтет необходимым рассказать читателю, как на перроне московского вокзала под моросящим осенним дождем он ожидал отхода курьерского поезда № 4, кто оказался его соседом по купе и какая мысль осчастливила его по дороге. Однако досадно, когда усилия, затраченные исследователем на художественное описание поисков, не соответствуют их результату. Важно прежде всего *что* ищут, а потом уж *как* ищут. «Иной уже готов рассказать со всеми подробностями, как он нашел свою рукопись в ящике собственного стола»,— шутит по этому поводу Андроников.

Есть словечко «популяризатор», которое с видом похвалы, но с тайным высокомерием обращают порой сухие жрецы науки к тому, кто пытается сказать об искусстве теплым, живым словом, не снижая при этом его проблем. Для них, что не скучно, то «не наука».

Андроников не «популяризатор», а первооткрыватель. Увлеченность литературой и ее творцами, страсть к познанию искусства Андроников сделал коренной своей темой, и оттого увядавший, камерный бытовой жанр домашнего устного рассказа получил у него свежую силу голоса и общественный смысл.

Можно сказать еще: ему дьявольски повезло. В тот момент, когда он понял себя, отстоял свой жанр и уже собирал на устные рассказы в творческих клубах и концертных залах довольно обширную аудиторию, будто специально для него человечество изобрело телевидение.

С юности я восхищался Андрониковым на сцене и никогда не забуду, как слушал его, забравшись на балкончик за железными прутьями (50 копеек место), под самый верх пупырчатого, как калоша, потолка Зала имени Чайковского. После смерти моего старшего товарища по университету Марка Щеглова я прочел в его дневнике студенческих лет запись от 11 января 1948 года:

«Ираклий Андроников... Рассказы лермонтовского цикла увлекательнее иного приключенческого романа. Свою будущую деятельность в литературоведении я мыслю только такой. Это интереснее всего на свете. «Первый раз на эстраде». Зал колыхался от хохота. С моими соседками чуть не сделалось плохо. Вспотели и навалились бессильно друг на друга и вдвоем — на меня».

Как точно совпадает эта запись с моими впечатлениями от вечеров Андроникова той поры! Но все же всю силу его импровизационного заразительного дара я понял лишь, когда увидел его вблизи.

Помню, как Маршак сказал об Андроникове, послушав его в одну из таких вдохновенных минут: «Это какой-то громокипящий кубок». Дар общения Андроникова и его способность громко восхищаться создают впечатление, что он рассказывает лишь для тебя и впервые. Пусть ты даже слышал прежде тот или иной его рассказ, он всякий раз звучит по-новому, в него вносятся иные краски, мысль и воображение причудливо ветвятся, находятся новые, точнейшие слова и жесты. И это творчество у тебя на глазах доставляет почти физическое удовольствие.

Вот почему я и говорю, что Андроников был создан для телевидения. С экрана, загорающегося теплым пятном в комнате, он говорит свободно, доверительно и увлеченно с двумя-тремя своими слушателями, будто не замечая, что смотрят и слушают его миллионы.

Среди его устных рассказов я особенно люблю один — «Земляк Лермонтова». Там сторож лермонтовской часовни в Тарханах рассказывает, как убивалась по смерти внука бабушка, велевшая перевезти в родную землю его прах с Кавказа. Сохраняя непосредственность чувства, старик смотрит на события прошлого глазами человека нашего времени, способного оценить по заслугам и благородство души Лермонтова и деспотизм характера бабушки («Да я вам откровенно скажу, если не по-научному!.. я эту бабушку ненавижу»). В своей любви к Лермонтову он старается быть справедливым, но не может скрыть пристрастия: «Я, конечно, понимаю, что Пушкин — Пушкин. Тут ничего не возразишь: Пушкин и есть Пушкин. Но все же, если допустить, что наш Михаил Юрич пожил бы, как Пушкин, до тридцати семи лет, то еще неизвестно, кто бы из них был Пушкин!»

В полуграмотном и живописном рассказе преданного памяти Лермонтова старика — через столетие — ярче проступает трагизм судьбы поэта. Рассказывает Андроников, и видишь самого старика-сторожа, который судит обо всем по-своему и даже бабушку укоряет в самовластии; видишь горе бабушки, потерявшей гениального внука, и самого поэта видишь. Искусство Андроникова связывает имена и лица, прокладывает мосты через десятилетия, сближает далеких по понятиям, образованности, кругу знаний людей.

Общительность, о которой я говорил как о черте андрониковского характера, есть и черта его творчества. Андроников обладает высокой профессиональной осведомленностью, но его наука не замкнута, и этот естественный демократизм в родстве с общительностью, как живым проявлением натуры. Он знаком с тысячами людей прошлых времен столь близко и основательно, что не простил бы себе, если бы не перезнакомил с ними и тысячи своих живых знакомцев-современников.

Историко-литературной науке Андроников сделал лучшую честь, привлекая к ней сердца многих. Искусству устного рассказа сообщил существенное содержание, поэзию научного разыскания. И в русскую культуру наших дней вошел как уникальное явление: человек-театр, где он сам и драматург, и режиссер, и единственный исполнитель бесчисленных ролей.